

На Банковском

СЕРГЕЙ СМОЛІЦКИЙ



Дом-музей Марины Цветаевой

Сергей Смолицкий
На Банковском

«Aegitas»

Смолицкий С.

На Банковском / С. Смолицкий — «Aegitas»,

В первые годы 20-го века в квартире 10 дома 2 по Банковскому переулку поселилась семья известного московского отоларинголога Льва Семеновича Штиха. Лев Семенович был дружен с Леонидом Осиповичем Пастернаком, их дети с ранних лет росли вместе. Впоследствии средний Штих – Александр стал одним из ближайших друзей юности Бориса Пастернака. Александр Штих начинал как поэт (в 1916 году вышла книга его стихов), впоследствии работал юристом в легкой промышленности. Дружбу с Б.Л. Пастернаком пронес через всю жизнь, сохранил ряд писем и автографов поэта. Двоюродная сестра Штихов – Елена Виноград (в замужестве – Дороднова) – главный адресат любовной лирики книги Б. Пастернака «Сестра моя, жизнь». Младший брат Александра – Михаил – начинал как музыкант, но впоследствии стал литератором, работал литобработчиком на 4-й полосе газеты «Гудок», затем – музыкаль-ным критиком в «Правде», затем – фельетонистом «Крокодила». Михаил Штих – свиде-тель и участник литературной жизни 20-30 годов прошлого века, был близко знаком с Ильфом, Петровым, Олешей, Булгаковым, Маршакom, генералом Игнатьевым и многими другими известными людьми того времени. А в 1921 году в квартире Штихов на Банков-ском М. Штих познакомил Бориса Пастернака с его будущей первой женой – художницей Евгенией Лурье. Шурином доктора Л.С. Штиха был известный впоследствии врач, теоретик медицины и философ Абрам Соломонович Залманов. Наибольшей известности он достиг в конце 50-х, когда жил во Франции, а до этого – в 1905 был полковником, в 1914 – генералом медицинской службы в русской армии, затем – основателем и начальником ряда медицинских управлений в первых большевистских правительствах, лечил Ленина, его сестер, Крупскую. Работал в клиниках Германии, Италии, Франции. Во время гражданской войны, будучи командирован Лениным в Крым, с его мандатом был задержан белыми, в период гитлеровской оккупации Франции был арестован гестапо, оба раза избежал смерти благодаря собственной смелости и находчивости. Дочь Александра Львовича Штиха – Наталья Александровна

(в замужестве Смолиц-кая) всю жизнь проработала в редакции журнала «Театр», была хорошо знакома с актри-сой Серафимой Бирман, драматургами и сценаристами Семеном Лунгиным и Ильей Ну-синовым, а также с Булатом Окуджавой, Александром Кроном, Елизаветой Ауэрбах и ря-дом других известных людей. Семья Штихов (а впоследствии – Смолицких) жила в той же квартире (ставшей в со-ветское время, естественно, коммунальной) до конца 1976 года. В книге, написанной Сергеем Смолицким – сыном Натальи Смолицкой и внуком Александра Штиха – рассказывается об истории семьи, ее друзьях и знакомых, многих из которых автор знал лично. Впервые публикуется ряд документов, связанных с именами Б. Пастернака, В. Ленина и других людей, рассказывается о некоторых малоизвестных со-бытиях в жизни известных персонажей, событий пусть не эпохальных, но интересных для всех, кто интересуется подробностями отечественной (в первую очередь – литератур-ной) истории. Штихи – Смолицкие – коренные москвичи, их жизнь была неразрывно сплетена с историей родного города. В книге описан ряд подробностей быта московской интеллигенции на протяжении почти ста лет.

© Смолицкий С.

© Aegitas

Содержание

Предисловие автора	6
Когда-то давно	8
Банковский и вокруг	10
Старик Коршунов	13
Гимназия	14
«Отвечай мне поскорее, Шура!»	18
Первые публикации	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Сергей Смолицкий На Банковском

Предисловие автора

*Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обнов-лённое, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.
Н.С.Лесков. «Запечатленный ангел»*

– Пап, а когда люди женятся, они всегда в другой дом жить уезжают?

Пашка сидел, подперев кулачками пухлые щеки, и смотрел на стену. Человеку четыре года – самое время для неожиданных вопросов.

– Обычно стараются. А что?

– А с собой что-нибудь берут или всё новое покупают?

– Что-нибудь берут. А ты почему спрашиваешь?

– Я, когда женюсь, с собой на новую квартиру отсюда обои возьму. Мне эти обои очень нравятся.

Я помню, как оторопел, когда это услышал.

Обои на стенах ком, наты, в которой шел наш разговор, были ужасные – ядовито-желтые, в мелких пестрых пятнышках. Мы въезжали в эту квартиру в ма, рте семьдесят седьм, ого, когда добыть в Москве приличные обои было огромной проблемой: они тогда продавались в единственном магазине около «Профсоюзной», и м, ногочасовая очередь перед его дверьм,и образовывалась задолго до открытия м, етро. Сейчас это уже трудно себе представить. Нам же по сложным обстоятельствам,, о которых речь впереди, перебираться приходилось быстро, и ремонт отложили на потом.

Но дело было совсем не в качестве обоев. Я вдруг пронзительно осознал, что сидевший передо мной маленький человек уже, сам того не понимая, любил свое родное гнездо, и эта стандартная квартира в бетонной коробке, стоящей на краю захламленного пустыря, всегда, всю его жизнь, будет ощущаться и помниться именно в таком – родном – качестве.

Мое отношение к нашему жилью в Черемушках было совсем другим,. Конечно, я радовался, впервые в свои двадцать семь лет оказавшись в квартире с горячей водой, где кухню, ванную и уборную не нужно делить с соседями. Я любил ее, но любовью скорее снисходительно-отеческой, чем сыновней: от м, еня зависело, какой ей стать. И – так уж в-ытло – вселение в эту новую отдельную квартиру связалось в моем сознании с утратой моего родного гнезда в центре Москвы, где жили три поколения моих предков. Многие стоявшие вокруг вещи, вполне уместные в старом московском жилье, здесь выглядели странно, но мне претила даже мысль поменять их на новые. Эти вещи хранили память о многом и о многих. А ведь именно добро и любовь, которые излучают старые – старинные – вещи, и превращают их из хлама в реликвии.

Предки мои – коренные, в нескольких поколениях, московские интеллигенты, и на протяжении большей части двадцатого века их жизнь тесно переплеталась с судьбами многих людей, оставивших заметный след в нашей культуре и истории. Кого-то мне посчастливилось видеть самому, о ком-то слышать от старших, а о некоторых дружеских связях моих родных я узнал слишком поздно, когда задавать вопросы стало уже некому. Помочь найти информацию могли лишь вещи – письма,а, докум, енты, рисунки, фотографии и надписи на книгах. Когда я собрал вм, есте стоявшие порознь автографы, составила удивительная ком, пания – прямо живая

история: Леонид, Борис и Евгений Пастернаки, Давид Бурлюк, Юрий Олеша, Илья Ильф, Константин Симеонов, Мария Максакова, Ираклий Андроников, Наталья Ильина, Самуил Маршак, Семен Лунгин с Ильей Нусиновым, Александр Крон, Лев Аннинский, Николай Акимов, Елизавета Ауэрбах, Серафима Бирман... А потом к ним прибавились книги с подписям, и поэта и океанолога Александра Городницкого, американского режиссера Джеймса Камерона и капитана Жака-Ива Кусто. Это уже мне. Я перечислил лишь самые известные имена, но здесь далеко не полный список.

Многое я узнал, разбирая старые документы, а что-то поманил по рассказам старших. Мысль о том, что все эти факты могут быть интересны и за пределами круга моих родственников, что необходимо, о как-то их оформит, у меня периодически возникала, но за каждодневной суетой все руки не доходили. Да и основные профессиональные дела, сугубо технические, лежали далеко в стороне от круга интересов предков, бывших поголовно гуманитариями. Однако мысль о необходимости записать все, мне известное об истории моей семьи, возникала снова и снова, особенно когда что-нибудь читая, наткнулся на такие, например, высказывания:

Мы проживали, тратили вещественные наследства наших отцов: не умели сберечь и умственные наследства, ими нам переданные.

Сколько капиталов устной литературы пропустили мы мимо ушей! Мы любили слушать стариков, но не умели записывать слышанное нами, то есть не думали о том, чтоб записывать. Поневоле и приходится сказать, с пословицей: глупому сыну не в помощь богатство!

(П.А. Вяземский. «Старая записная книжка».)

В оправдание моих предков, почти не оставивших письменных воспоминаний, нужно, пожалуй, упомянуть, что их в детстве учило больше молчанию – просто из чувства самосохранения. Но мне-то бояться стало уже нечего.

А потом был звонок из Петербурга: там совершенно незнакомые мне люди собирали материалы об одном из моих родственников, докторе Залме, анове. Они хотели организовать его 8 музей. Я написал подробное письмо, в котором изложил то, что знал на тот момент, и понял: всё! Надо начинать. А начав, увидел, что знаю очень мало, да и то, что знаю, нуждается в уточнениях, наведении справок и архивных разысканиях. И все это – в свободное время, так что работа шла медленно.

По мере продвижения я давал читать уже готовые главы знакомым. И тут открылась одна любопытная вещь. Не раз выходило так, что, возвращая рукопись, человек отзывался о прочитанном в целом, что-то уточнял, что-то критиковал, а потом говорил: да, кстати, знаешь, ведь у нас была похожая история, – после чего рассказывал какое-нибудь свое семейное предание, абсолютно никакого отношения к написанному мной не имевшее. Вначале даже появлялась легкая досада: ведь я писал совсем не о том!

Когда же ситуация приобрела характер закономерности, я понял – вероятно, нащупанная мной тема занимает людей не только фактами. Просто сказанное князем Петром Андреевичем Вяземским полтора столетия назад справедливо и сегодня. Многим есть что вспомнить и рассказать, но, к сожалению, немногие это делают.

Вот я все же собрался и сделал.

Пусть моя любовь как мир стара, – лишь ей одной служил и доверялся
я – дворянин с арбатского двора, своим двором введенный во дворянство.

Б. Окунджава

Когда-то давно

Кирова двадцать два дробь два квартира десять – это первый адрес, который я запомнил наизусть. Коммуналка, где соседствовали семь семей, – одна уборная, одна кухня с двумя плитами (восемь конфорок), у каждой семьи свой кухонный стол с полкой над ним. Ванна с газовой колонкой появилась уже на моей памяти. Примусов не помню, хоть мама и говорила, что я их застал.

А вот купание в корыте на кухне при веселом оживлении соседей и соседок помню. Это мне года три-четыре.

Наша комната была самая большая в квартире – 45 квадратных метров. Маленьким я катался на велосипеде вокруг обеденного стола. Жили вдвоем с бабушкой и мамой. Папа с другим дедушкой и бабушкой жили недалеко, «на Водопьяном»¹ (теперь этого переулочка нет).

Квартира располагалась на втором этаже, и наши три окна выходили в Банковский переулок. Серая громада доходного дома Строгановского училища напротив (№ 24 по Кирова) заслоняла свет, у нас всегда было темно. В самые длинные летние дни, когда солнце поднимается высоко, оно на час-другой освещало наш подоконник, а в комнату не заглядывало никогда, вся жизнь проходила при электрическом свете. Когда, начиная с шестидесятых, знакомые стали переезжать в новые отдельные квартиры, мама, приходя в гости, всегда шла к окну – посмотреть, «сколько неба из него видно». Нам-то на отдельную квартиру надеяться было нечего – в советские времена «улучшение жилищных условий» полагалось, если на жильца приходилось меньше шести квадратных метров жилплощади – куда ж нам, с нашими сорока пятью на троих, а потом и на двоих. У мамы за всю жизнь и был фактически один адрес – не считая двух лет эвакуации и двух лет замужества – в этой комнате она лежала в люльке, здесь ее и в гроб положили.

Дедушка-то успел сменить несколько адресов, но это было в его раннем детстве, еще до гимназии. Знаю, что какое-то время их семья жила дальше по Мясницкой, в доме 32, где аптека, и еще где-то недалеко, в переулках, ближе к Маросейке. А потом, в конце девяностых (тысяча восемьсот девяностых), прадед снял эту квартиру. Тогда ее номер был 31, а дом числился как «дом Сытова на Мясницкой». Можно сказать, что там и началась наша история.

О прадеде я знаю очень мало. Звали его Лев Семенович Штих, он был отоларингологом. Имел частную практику и работал врачом на кондитерской фабрике «Эйнем» (в советское время – «Красный Октябрь»). В квартиру, о которой идет речь, доктор Штих переехал, когда семья его составила уже полностью: младший сын, Миша, помнил переезд. Шестикомнатная квартира в центре удовлетворяла доктора со всех сторон: в ней легко размещались кабинет, детская, гостиная, комната для прислуги и несколько спален – семья-то большая. Вот она, семья доктора, на фотографии. Толстая картонка с золотым обрезаем. Внизу – золото: герб, восемь медалей и изящная надпись: «В.Чеховский. Москва».

Прадед сидит, исполненный чувства собственного достоинства, облокотясь на тонконогий столик и пряча в усы полуулыбку. Рядом стоят жена и старшая дочь. Средний сын – в кресле, на нем штанишки до колен с пуговками, на шее – белый бант. Это – мой дедушка. Младшему сыну на карточке года два. Щекастый, с золотыми кудряшками, в матросской курточке и длинной юбочке, напуган происходящим. Фотографии больше ста лет, но она совсем не выцвела. Композиция идеальна, как в учебнике – лица образуют правильную фигуру, впереди мужчины в темном, сзади – дамы в светлом. В. Чеховский не зря получал свои медали.

¹ Конечно, правильнее говорить «в Водопьяном», как и «в Банковском», однако все мои знакомые – старые москвичи, жившие в этом районе, говоря «в Телеграфном», «в Потаповском» или «в Армянском», для Банковского, Водопьяного и еще нескольких переулочков делали исключение; поэтому в своем рассказе о них я решил придерживаться такого написания.

Вот другое изображение прадеда – на картоне, смешанной техникой. Рисовал Леонид Осипович Пастернак, они со Штихами дружили семьями. Лев Семенович в гостях у Пастернаков. Судя по дате – 1892 год – дело происходит в квартире дома Лыжина, на углу Оружейного переулка и Садовой. Прадед о чем-то жарко говорит с Карлом Евгеньевичем Пастернаком, кузеном художника. Сидят давно, по-московски уютно. От вина, закусок и фруктов перешли к чаю, прадед курит. О чем эта горячая беседа? Об искусстве? О политике? О детях? Московские интеллигенты во все времена любили поговорить за столом о важном, в этом за сто лет мало что изменилось – разве что темы. Но что-что, а темы для важных разговоров жизнь всегда подбрасывала в изобилии.

Какой он был, Лев Семенович? Что любил есть на обед? Что читал? Какую слушал музыку? Как ухаживал за прабабушкой? Есть фотография, сделанная в венском ателье, на ней под руку стоят прадедущка и прабабушка – совсем молоденькая. Может, это свадебное путешествие?

Московский интеллигент конца позапрошлого века – это слишком расплывчато о родном прадеде. Но я почти ничего больше не знаю. Думаю, однако, человеком он был сильным. Из дедушкиных и Мишиных воспоминаний у меня в памяти почти не осталось фактов, скорее ощущение какой-то душевной общности – в чем-то мы похожи.

Прадед умер 26 апреля 1930 года, о чем его семья сообщила в газете «Известия» на следующий день. Моей маме было тогда три с половиной года – Лев Семенович успел понянчить внучку.

Самый младший на снимке Чеховского – карапуз Миша – прожил долгую жизнь, пережил брата и сестру, похоронил единственного сына – четырехлетнего Валечку, а потом, на склоне лет, и любимую племянницу – Натуську, мою маму. В последние годы с восторгом играл с правнучатым племянником – щекастым златокудрым херувимчиком Павликом. Успел написать стишок на рождение другого правнучатого племянника – своего тезки. Из всех, кто когда-то давным-давно стоял и сидел в ателье Чеховского на Петровке, 5, моих сыновей увидел он один. Когда он умер, младшему Мише было полтора, старшему Паше – четыре. Паша его практически не помнит – я спрашивал. Нашу квартиру в Черемушках дядя Миша никогда не видел – старенький и больной, он никуда не выходил дальше двора дома на Беговой.

Банковский и вокруг

*Но дальше, дальше в путь. Как душно и тепло!
Вот и Мясницкая. Здесь каждый дом – поэма,
Здесь мне все дорого: и эта надпись Пло,
И царственный почтаммт, и угол у Эйнема².*

С.М. Соловьев. Московская поэма

Короткий Банковский переулок – чуть больше семидесяти метров длиной – образован всего двумя домами, № 1 и № 2 на левой и правой сторонах соответственно. Раньше, еще в XVIII веке, он назывался Шуваловским по домовладению графа Петра Ивановича, личности весьма известной, одного из тех, с чьей помощью взойшла на престол Елизавета Петровна. Как многие деятели той поры, Шувалов «отметился» и в военном деле, и в политике, и в экономике.

Именно он стоял у колыбели первых российских банков. Одному из них – Ассигнационному – граф продал свой дом на Мясницкой, после чего ближайший переулок и стали называть Банковским.

Он напрямую соединяет Мясницкую улицу с Кривоколенным переулком. Оба образующих его дома, таким образом, разными своими сторонами выходят на Мясницкую улицу, Банковский и Кривоколенный переулки и имеют дробную нумерацию. Та часть города, которая с детства осознается человеком как своя, для меня представляла собой неправильный четырехугольник, ограниченный с северо-западной стороны улицей Кирова (Мясницкой), с юго-запада – Армянским переулком, с северо-востока – Чистопрудным бульваром и с юга – переходящими друг в друга улицами Богдана Хмельницкого и Чернышевского. Две последние, правда, даже в советские времена часто называли по-старому – Маросейкой и Покровкой.

Мясницкая улица, на которую парадным фасадом выходил наш дом, имеет давнюю историю – ей больше пятисот лет. Когда-то по ней ездил в Немецкую слободу царь Петр. В послепетровскую эпоху Мясницкая была дворянской улицей. Пушкин, помянувший в своих стихах не так много московских названий, о ней как раз отозвался с большой теплотой в «Дорожных жалобах»:

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

Смешно, но мне почему-то приятно, что моя родная улица навела Александру Сергеевичу такие уютные мысли. А совсем неподалеку, в Кривоколенном, на старом особняке, есть и посвященная ему мемориальная доска: здесь, в доме Веневитинова, осенью 1826 года приехавший из михайловской ссылки Пушкин читал «Бориса Годунова».

Кстати, название моего родного переулочка я встречал и в мемуарах наших современников – Сергея Образцова и Кира Булычёва; оба вспоминают Банковский как один из первых адресов детства.

² «Л.Ф. Пло. Мясницкая, дом Ермакова. Телеф. 1096 и 1072» – реклама технической конторы. Эйнем – кондитерская фирма, имевшая магазины в разных районах Москвы.

Короткое время в конце 20-х – начале 30-х Мясницкая называлась Первомайской, но после того как через нее проследовал привезенный из Ленинграда гроб с телом убитого Кирова, улица надолго стала Кировской.

Район этот входил в ту часть Москвы, которая подверглась в пореформенный период, наступивший около 70-х годов XIX века, особенно большим изменениям. Вообще тогда Москва менялась быстро и кардинально, урбанизовалась, что от мечали практически все писавшие о ней авторы. В «Спутнике зодчего по Москве» 1895 года читаем: «В рассматриваемый период времени Москва значительно изменила свою физиономию. <...> В это сравнительно короткое время некоторые части города стали совершенно неузнаваемы.» Или в более позднем путеводителе Звягинцева и Ковалевского 1915 года: «Реформы и прежде всего отмена крепостного права <...> изменили радикальнейшим образом условия, определявшие экономическую и социальную жизнь Москвы. С этой поры деревенская усадебная Москва безвозвратно уходит в прошлое, стремительно формируясь в законченный тип современного большого города».

Вот еще цитата, из Е.И. Кириченко, «Москва на рубеже столетий»:

Особенно показательна <...> судьба Мясницкой улицы, где находился почтамт и по которой шло главное движение от центра к Николаевскому, Ярославскому и Рязанскому вокзалам. Не случайно она в числе первых оснащалась самыми современными тогда видами благоустройства: в 1870-х годах получила газовое, в 1890-х годах – электрическое освещение, а в начале XX в. была вымощена брусчаткой. В 1870-х годах на Мясницкой была проложена одна из первых линий конножелезной дороги. То же повторилось в начале нашего столетия с трамваем.

В итоге к рубежу XIX – XX столетий на старой московской улице, какой была Мясницкая, осталось пять-шесть зданий, относящихся к эпохе особняков. Они стоят и поныне, большая их часть сосредоточена в дальнем от центра конце улицы.

Конечно, просвещенные современники, любившие свой город, не были равнодушными свидетелями перемен, происходивших с Москвой. Споры, очень похожие на современные, велись и тогда. Да, собственно, за сто лет они и не прекращались.

Вот – газета «Голос Москвы» за 8 января 1913, статья «Москва, теряющая свой облик». Среди спорящих – художник Виктор Васнецов и хранитель Оружейной палаты В.К. Трутовский. Они разделяют опасения, что «Москва, с ее узорными церквями, пестрыми главами колоколен, с ее башнями и стенами, с низенькими тихими домиками» может «потерять свой характерный, ни с чем не сравнимый облик, превратившись в обычный шаблонный город общеевропейского типа», что ее заполняют «многоэтажные безобразные, без всякого стиля дома, похожие на гладкие ящики», что «когда появятся метрополитены, трамваи и проч., когда будут уничтожены исключительные по своему историческому значению места, как Хитров рынок, – Москва станет обыкновенным безличным европейским городом».

Мне всегда казалось, что люди, пишущие или говорящие об «обычных шаблонных городах общеевропейского типа» или «обыкновенных безличных европейских городах», на самом деле никогда их не видели, поскольку, на мой взгляд, все эти города как раз обладают своей исключительной физиономией. Вряд ли кто-нибудь, даже в большом патриотическом запале, назовет шаблонными или безликими Рим, Париж, Вену, Лондон, Копенгаген, Прагу или Варшаву. Но это к слову.

Справедливости ради автор статьи предоставляет слово и приверженцам противоположной точки зрения – председателю комиссии по городскому благоустройству Н.В. Щенкову и архитектору Р.И. Клейну. Эти господа справедливо полагали, «что Москва не в состоянии удержать старинный оттенок», что «теперешний азиатский характер города – все эти кривые

улички, неправильную планировку построек и странную окраску домов – необходимо уничтожить» и «Москва должна принять европейский вид».

Таким образом, пользуясь терминами второй половины XX века, можно сказать, что Штихи поселились в районе новостроек: подавляющее большинство домов вокруг были возведены в период между началом 1890-х и Первой мировой войной. Надо заметить, что строили здесь в основном известные архитекторы: Р.И. Клейн, Ф.О. Шехтель, О.Р. Мунц и многие другие крупные московские зодчие. Сегодня фотографии этих зданий печатают в книгах о памятниках архитектуры соответствующего периода, никто не называет их безобразными, без всякого стиля, или гладкими ящиками.

Дом № 22 построил в 1893 году архитектор Дмитрий Николаевич Чичагов. Это была, наверно, последняя его работа: в 1894-м Чичагов умер. На могиле поставили памятник по собственному проекту архитектора.

Вообще Чичаговы были архитектурной семьей, причем работали они преимущественно в Москве. Основоположник династии – Николай Иванович вместе с Тоном строил Большой Кремлевский дворец. Архитекторами стали три его сына: Дмитрий, Константин и Михаил. Сын Дмитрия, Алексей, продолжил семейную традицию. Он участвовал, в частности, в строительстве Музея изящных искусств.

Д.Н. Чичагов построил в Москве много зданий. Самые известные – это Городская Дума (впоследствии музей Ленина), Тургеневская читальня и часовня Александра Невского на Моисеевской (Манежной) площади. Часовню я не застал, а в читальне занимался и в школьные, и в институтские годы. Снесли ее в конце 60-х. Красивое было здание.

Дом № 22 по Мясницкой особо не выделяется своей физиономией – это истинный буржуа («деловит, но незаметен»). Вместе с домами № 20 и № 24 он создает как бы единый ансамбль рядовой городской застройки: три дома почти одной высоты, стоящие шеренгой, дети своего времени – разные, но чем-то похожие. Думаю, что, прожив в нем больше четверти века и видев бесчисленное количество раз, я все же не узнал бы его на фотографии или плане, изображенным отдельно, вне контекста улицы.

Образующие единый квартал три дома – по Мясницкой, Банковскому и Кривоколенному, – видимо, строились без общего плана: они имеют разное число этажей и разную их высоту. Так, окна четвертого этажа, выходящие в Банковский, приходятся вровень с окнами третьего этажа по Мясницкой. Однако, явно разностильные, они всегда (и в дореволюционных справочниках, и сейчас) обладали общей нумерацией: наш адрес никогда не писался как «Банковский, дом 2», всегда было – Мясницкая (или Кирова), дом 22/2.

Владельцем этих трех примыкавших друг к другу доходных домов был потомственный почетный гражданин Сергей Иванович Сытов. Не знаю, заключал ли прадед договор найма квартиры с ним самим или с управляющим – Александром Александровичем Зайцевым.

Об этих людях мне неизвестно ничего, кроме имен и фамилий. Но само появление доктора Штиха с семьей в этом районе и в этом доме, как следует из сказанного, явление вполне закономерное. Представитель нарождавшегося среднего класса России, интеллигент в первом поколении, пробившийся своим умом и упорством, он был тем, кого американцы называют self-made man.

Для меня именно к таким, как прадед, относится девиз, который часто помещали на фасадах домов постройки первых советских лет. На литых чугунных барельефах было написано: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Почему советская власть выбрала именно этот лозунг, мне непонятно. Слова его в значительно большей степени, чем к пролетариату, относятся к уничтоженному революцией среднему классу.

Старик Коршунов

В моей жизни образ прадеда впервые возник – упоминанием – с появлением старика Коршунова. Как его звали, я не знаю, в разговорах взрослых – мамы и бабушки – он всегда фигурировал именно так: старик Коршунов. Со слов бабушки получалось, что когда-то давно старик был пациентом прадеда и с тех пор приходил регулярно по разным поводам. Дед сказал: «Отец его вылечил. Он долго болел, а отец вылечил», – и понятие «прадед» впервые наполнилось чем-то неосознанным, но конкретным.

Коршунов был хромым, бородатый, очень старый и круглый год ходил в пальто. Жил он где-то у нас во дворе и работал столяром. Если портилось что-нибудь из мебели, заедала дверь или весной не открывались оконные рамы, звали Коршунова. Он приходил, сильно припадая на хромую ногу, чинил, что просили, брал деньги, кланялся и уходил. Расплачивался с ним всегда бабушка. По глупому обыкновению тех лет оба они очень смущались в этот момент, и деньги передавались как бы незаметно, хотя брал их Коршунов за честно сделанную работу.

Каким он был столяром, я не знаю: поводы для вызова были слишком мелкими, чтобы судить о работе всерьез. Сейчас я сделал бы все это сам и за большое дело не посчитал.

Время от времени старик появлялся без вызова. Он звонил два раза (к нам!), тихо бубнил что-то, сняв шапку, бабушка уточнял, сколько и до какого, и давал займы – когда пятерку, когда десятку «по-старому» (это когда пол-литра «Московской» стоили 21 рубль 20 копеек). Отдавал долг Коршунов всегда без задержки.

И еще Коршунов появлялся на праздники. Кроме «всемирных», он помнил бабушкин и мамин дни рождения и обязательно приходил поздравлять. Старик кланялся, стоя на пороге, опять бубнил что-то в бороду, бабушка благодарил, улыбался и совал мелочь из кулака в кулак. Кроме бабушки и мамы, Коршунов ни к кому в нашей большой коммуналке не ходил, а у нас возникал достаточно регулярно. Дед, сам с трудом исхитрявшийся растянуть семейный бюджет до очередной полочки, иногда вздыхал недовольно: «пчела за данью полевой», но давал обязательно. Приходил старик Коршунов и консультироваться по поводу пенсии, и дед, профессиональный экономист и юрист по гражданскому праву, что-то ему перерассчитывал. Вообще старик относился к бабушке очень почтительно и всегда раскланивался на улице, старомодно снимая шапку. Наверно, он тосковал по настоящим господам. Тогда, в пятидесятые, это было трудно понять – особенно нам, детям второго советского поколения.

После бабушкиной смерти Коршунов появился всего два или три. Видимо, к маме, которая ему годилась во внучки, обращаться за деньгами старику было неловко, да и вообще он видел в ней человека из другой, советской жизни. При очередном его приходе у мамы не случилось денег (увы, ее обычное состояние). Она очень расстроилась тогда.

Больше Коршунов к нам никогда не приходил. Еще некоторое время я встречал его в переулках, сосредоточенноковылявшего куда-то. Я здоровался, но он меня, кажется, не узнавал. А потом старик и вовсе исчез. Наверно, умер.

Гимназия

Итак, семья. Глава, Лев Семенович (по документам Нессанеле-Лейба Зельма-нович) Штих. Жена – Берта Соломоновна, урожденная Залманова. Их дети – старшая Анна, для родных – Нюта, средний – Александр, в семье – Шура (родился 26 октября 1890 по н.с.) и младший – Миша (23 августа 1898 по н.с.). На одной-единственной фотографии братья и сестра Штихи сняты со своим дедом, а моим прапрадедом Залмановым – благообразным, седобородым господином. Про него я знаю только, что звали его Соломон и был он купцом из Гомеля.

Сохранились Шурины и Мишины метрики. Судя по да там выдачи, документы выправлялись по поводу поступления в гимназию. Они, по-моему, любопытны, как всякий документ, выписанный больше ста лет назад.

М.В.Д.

Московского РАВВИНА Москва, апреля 28 дня 1897. № 420 Метрическое свидетельство.

Дано сие от Московского Раввина в том, что в метрической тетради части I о родившихся евреях по городу Москве за тысяча восемьсот девяностый год под № 319 графы мужеской значится акт о рождении следующего содержания:

Тысяча восемьсот девяностого года октября тринадцатого дня у вольнопрактикующего Врача Нессанеля-Лейба Зельмановича Штиха от его жены Басшевы (Берты) Зальмановой, здесь, в городе Москве, родился сын, коему дано имя Александр.

В чем подписью с приложением печати удостоверяю.

Московский раввин (Подпись).

Но это только начало документа. На обороте весь лист заполнен «писарским» почерком с завитушками:

На основании ст. 1086 т. IX Закона о состоянии, изд. 1876 г. Московская городская управа сим удостоверяет, что в метрической книге часть первая о родившихся евреях по г. Москве за тысяча восемьсот девяностый год в статье под номером триста девятнадцать мужеской графы значится так: родился октября тринадцатого Хешван одиннадцатого в 2 ч. утра обрезан октября двадцатого Хешван восемнадцатого Яузской части 1 участка доктора Эйбушица по Мясницкой улице, отец вольнопрактикующий врач Несанеле-Лейба Зельманович, мать Басшева (Берта) Зальманова сын, имя дано ему Александр; при этом в метрической книге не пополнена графа «кто совершал обряд обрезания».

Под документом печати управления пристава 1 участка Мясницкой части с припиской от руки: «Вид на жительство выдан» – и число, до которого действительна «прописка». По окончании срока действия печати обновлялись.

Интересно, сколько времени ушло у вольнопрактикующего врача или его жены на оформление свидетельства? Какие еще справки нужно было прикладывать и где их собирали? Когда я читаю сей внушительный документ, в моей памяти всплывают долгие часы, проведенные в ЖЭКах, домоуправлениях, паспортных столах и прочих милых заведениях. Хорошо бы узнать, как изменилось количество чиновников на душу населения в России за прошедшее столетие? Причем появление компьютеров, кажется, только осложняет жизнь и изощряет требования «инстанций».

Семья Штихов была музыкальной: двое старших детей, как и мать, играли на фортепьяно, младшего, как он говорил, «потянуло к скрипке», и только цепь случайностей, происшедших во время гражданской войны, не позволила ему закончить консерваторию. Как многие тогдашние интеллигенты, Штихи были далеки от религии и национальной еврейской традиции: родным языком для них являлся русский, в синагогу или церковь они не ходили. Однако числились иудеями, за что Шура и Миша в гимназии освобождались от уроков Закона Божьего (то-то радости!).

Тогдашние законы не позволяли расслабиться – только медаль за гимназию давала еврею право на поступление в университет, и только диплом о высшем образовании позволял жить в столицах, остальным полагалось проживать в пятнадцати окраинных губерниях, за чертой оседлости. А чтобы учащихся евреев не оказалось слишком много, действовал закон о трехпроцентной норме, ограничивающий количество лиц иудейского вероисповедания в учебных заведениях тремя процентами.

Впоследствии, при получении университетского диплома, Шуре предложили перейти в христианство, чтобы существенно облегчить себе жизнь. Дедушка отказался, сказав, что примет крещение, только если полюбит православную и она поставит это условием брака. Как в воду глядел – бабушка была русской. Правда, замуж вышла без всяких условий.

Из дедушкиных и Мишиных рассказов о детских играх я, маленький, запомнил главным образом оловянных солдатиков – вероятно, потому, что в моем-то детстве их не было: они появились только к концу пятидесятых и были грубыми и неинтересными. Может быть, и те, немецкие (Миша говорил – нюрнбергские), дореволюционные, продававшиеся дюжинами в лубяных коробочках, ничего особенного собой не представляли, но в моем детском воображении они были прекрасны. И еще там фигурировала какая-то неопущечка, стрелявшая пистонами, – из нее вылетали резиновые пульки. При желании их можно было заменить ягодами рябины. Юные Штихи хулиганили: стреляли по окнам флигеля, стоявшего напротив, во дворе. За окнами жило семейство немцев с толстыми розовыми детьми. Думаю, что после попаданий стекла все же оставались целыми, но лица озадаченных немцев дядя Миша спустя сорок лет изображал уморительно.

С осени 1894 года Штихи стали соседями Пастернаков – Леонид Осипович получил квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества, от которого до Банковского переулка меньше двухсот метров. Шура с Борей были одноклассниками, они часто встречались, вместе играли. Младший брат Бориса, Александр, вспоминает об изобретенной друзьями сложной игре в морской бой с оловянными корабликами.

До меня из их детства дожила только книжка «Макс и Мориц». Я ее помню зрительно, потом она куда-то пропала. Стишки и картинки были смешные, но очень жестокие. Помню только:

– Я узнаю теперь заряд:
Здесь духовым ружьем палят!
Старик кофейником хватил
И трубку в рот заколотил.

Книжка сильно контрастировала с педагогически правильными стихами Барто, Чуковского и Маршака, на которых воспитывали наше поколение. Наверно, Олег Григорьев, придумавший в начале тысяча девятьсот восьмидесятых жанр «садистских стишков», тоже читал в юности про Макса и Морица.

Дети в подвале играли в гестапо -
Зверски замучен сантехник Потапов.

Это уже из детства моих детей. А тогда, сто лет назад, еще не придумали ни гестапо, ни даже сантехников. Братья Штихи играли в другие игры. Богатая тетя Соня Виноград, имевшая собственный выезд, подарила старшему, Шуре, на десятилетие дешевые часы, естественно, карманные. Он засел с ними в детской, открыл заднюю крышку и долго исследовал механизм. Поняв, что мешает колесикам вращаться быстро, вынул лишнее, продел нитку – получилась заводная лебедка, которая могла поднимать игрушки. Изобретение не встретило понимания со

стороны родителей, талантливый механик-самоучка был наказан, испорченные часы конфискованы. А тетя Соня мелькнула в воспоминаниях только раз. Кроме имени, выезда да подаренных дедушке часов я долго ничего о ней не знал³.

Зато про «дядьку», брата Берты Соломоновны, Абрама Соломоновича Залманова, мне рассказывали много и увлеченно. Веселый и озорной, он часто играл с племянниками, должно быть, не всегда достаточно благонаравно с точки зрения их серьезной матушки. Но о нем разговор отдельный.

То ли начитавшись книжек про спартанцев, то ли – по другому поводу, но как-то юный Шура решил проверить свою силу воли. Над способом (докторский сын!) ломать голову не стал: горчичник. Прилепил на грудь и долго терпел, а потом так и заснул. Отцу пришлось лечить огромный волдырь на груди «спартанца», но в целом к выходке сына он отнесся уважительно.

Помню, как я восхитился дедом, узнав эту историю: маленьким я очень боялся горчичников. Конечно, при необходимости терпел их безропотно, но считал, что переносу адские муки. Примиряла меня с этой процедурой плоская жестяная коробочка, в которой они у нас хранились. На ней между золотыми и зелеными узорами по-французски и по-русски с ятями и твердыми знаками значилось: «Горчичники товарищества В.К. Феррейн в Москве. Старо-Никольская аптека». И еще там был «царский» герб, большая редкость в пятидесятые. Хищный двуглавый, орел с коронами мне очень понравился, и я попытался его срисовать. Дедушка, застав меня за этим занятием, орла срисовывать запретил: в общей ментальности того времени старый российский герб еще прочно числился вражеским символом.

Учились братья Штихи в 4-й московской гимназии на Покровке. В разное время из ее стен вышло немало известных людей – назову хотя бы К.С. Станиславского и Н.Е. Жуковского. Здание гимназии (дом № 22) сохранилось, это бывший дом Апраксина, который в Москве в старину называли «комодом». Довелось посещать его и мне – там помещался райком комсомола нашего Бауманского района. Красивое, праздничное здание, один из немногих в Москве памятников барокко. От дома до гимназии с полчаса хода взрослого человека. Я представляю себе юных Штихов с ворсистыми ранцами за спиной и в длинных, до пят, шинелях, топающих зимой переулками в гимназию. Может быть, конечно, они ездили на конке, но для этого приходилось делать пересадку у Мясницких ворот. Получалось ли так быстрее или удобнее? Не знаю. Вопросы подобного рода начали интересовать меня, когда задавать их стало некому.

Шура был принят сразу и учился отлично – за восемь лет получил восемь наградных листов, окончил с золотой медалью. Дедушка вспоминал, что двойку он получил лишь однажды, за контрольную по математике – учитель дал ему персональную задачку, очень хитрую, «с ключиком». Листок с заданием тайком вынесли в уборную старшеклассникам, но и те решить не смогли.

Дед в детстве хорошо рисовал, занимался живописью. Сохранились его эскизы – карандашные, а потом и маслом, главным образом пейзажи, многие помечены – Лосиный остров, Сокольники. Среди сохранившихся набросков и портреты лучшего друга – Бори Пастернака.

У Миши дела сложились хуже: вступительные экзамены в гимназию он сдал, но по трехпроцентной норме принят не был. Через год пришлось повторять все еще раз, и в 1909 году Миша стал гимназистом.

С кем учился дедушка, в кого превратились со временем его одноклассники, мне неизвестно. Возможно, зная о судьбах многих из них, дед сознательно ничего не рассказывал. Детская память легко запоминает курьезы, и в моей сохранился учившийся с ним купеческий сын Петя Носов, невежественный пижон. Он именовал себя на немецкий лад Петер Назе и

³ Софья Соломоновна (в крещении – Федоровна) Виноград, в девичестве – Залманова, была родной сестрой Берты и Абрама Залмановых и матерью Елены, Владимира и Валерия Виноград.

вошел в историю фразой в сочинении: «Мцыри был написан Пушкиным под обаянием Бальмонта» (перевожу: под обаянием Байрона).

«Отвечай мне поскорее, Шура!»

Со временем образовалась компания. Кроме молодых Штихов в нее входили близкие по возрасту двоюродные родственники из семейства Виноградов – Лена, Валериан (Валька) и Володя; Борис Пастернак, Вадим Шершеневич, Самуил Фейнберг, Борис Кушнер, Сергей Бобров, сын Льва Шестова – Сергей Листопад, Константин Локс, Сергей Дурылин и другие молодые люди, объединенные любовью к искусству, – в первую очередь, поэзии, – и музыке, конечно. Встречались в разных местах, часто – у Штихов на Банковском. Многие впоследствии стали людьми известными.

Взаимоотношения и интересы компании прекрасно описаны у Бориса Пастернака в «Охранной грамоте»:

Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью.

Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовно ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных.

Я давал несколько грошовых уроков, чтобы не брать деньги у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире.

Александр Штих, как и остальные, тоже подрабатывал уроками – можно сказать, это была массовая профессия для молодых образованных людей той поры (вспомним многочисленных персонажей Чехова или Тэффи – студентов-учителей в богатых семействах). Шура сначала преподавал детям кондитерского фабриканта Эйнема, а затем учительствовал в семье Штуцеров. Глава семьи служил управляющим заводами в Романово-Борисоглебске. Я хорошо запомнил дедушкины рассказы об этом времени – прогулки на лодках под парусом, верхом и в санях, какая-то норовистая лошадь, с которой он совладал, не дав себя сбросить, и необычайно удачная утиная охота. Тогда вдвоем с кем-то из молодых Штуцеров они настреляли чуть не дюжину уток, но, вернувшись, тихонько сложили добычу на кухне, а домашним сказали, что пришли ни с чем. Остальная молодежь стала издеваться над неудачливыми охотниками. Пели куплеты цыганского барона, переделав слова:

Я – цыганский барон,
Я стреляю ворон... —

а потом, взволнованно лопоча по-немецки, с кухни прибежала хозяйка, неся в каждой руке за шеи по две утки.

Сколько раз дедушка побывал в эти годы за границей и где именно, я не помню, но Италию и Германию он видел точно. Помню его рассказ о путешествии в Альпах, как ехали из города в город дилижансом с компанией немцев. Дедушка весело смеялся, вспоминая, как немцы, занятые разговорами, равнодушно взирали на прекрасные горные виды по дороге. Однако они неукоснительно останавливали дилижанс во всех точках, упоминавшихся в путеводителе Бедекера; один из них зачитывал описание места, лежащего перед их глазами, по книге, после чего вся компания начинала громко восхищаться увиденным.

Как и все городские интеллигенты того времени, Штихи на лето обычно снимали дачу. Много лет подряд они жили в Спасском, вместе с родственниками – Виноградами. Борис Пастернак часто приезжал в гости. (Спустя несколько лет он напишет стихотворение, которое так и называется – «Спасское»: «Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском. Не сегодня ли с дачи съезжать нам пора?» – и дальше: «...и опять – вам пятнадцать», это – про Лену Виноград.) Необходимость в общении была постоянной, и, разлучаясь на время, друзья писали письма. Аккуратный Шура хранил письма друга – в итоге после всех катаклизмов двадцатого века сохранилось более четырех десятков Бориных писем к нему. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Шура прожил жизнь на одном месте и квартира на Банковском сберегла папку с письмами Бориса.

«Дорогая душа!», «Милый Шура!», «Отвечай мне поскорее, Шура!», «Сейчас же напиши мне. Сжался надо мной», «Я еще не получил ответа от тебя». Чем напряженнее духовная жизнь, тем чаще даты на штемпелях: Борис пишет другу по несколько раз в неделю, через день, каждый день. Семнадцатого июля 1912 года – два письма.

«Знаешь ли, во что я верю? В предстоящий спутанный лес; во вдохновенность природы – и в твою дружбу».

«...Помнишь, я назначал какую-то далекую пятницу, <...> а потом вдруг в 6 часов я мчался на вокзал и зарывался с тобой в глубокое, глубокое лето».

«Поклон Нюте. Лене кланяйся. Поклонись и Мише. Перед Валею ляг, так и быть. Володя? Ну, провались перед ним сквозь землю».

20 июня 1910 года Боря приезжал в Спасское, где отдыхали Штихи с Виноградами. Пошли гулять втроем – Шура, Лена и Боря. Говорили, спорили. О чем? Очевидно, как всегда в молодости, о самом важном в жизни. Шура, доказывая свое, лег на шпалы между рельсами и сказал, что не встанет, когда над ним пройдет поезд (повзрослел: это вышло серьезнее горчичника). Лена уговорила его встать. Через несколько дней Борис написал в письме:

...тогда вечером я сел в купе на столик в уровень с полевой темью и весь окунулся в букет, который мы рвали втроем, между поездами. <...> Я очень много думал двумя образами, которые упорно кочевали за мной: тобою и Леной.

Ах, как ты лег тогда!

Ты не знаешь, как ты упоенно хотел этого; ты не спрашивай себя, ты ничего не знаешь; я тебе говорю – ты бы не встал. Можешь не верить себе – это третьестепенно. Я никому и ничему не верю, – но я это знаю, ты бы остался между рельс.

Ты ведь был неузнаваем.<...>

Но ты даже не подозреваешь, до чего я пошл!

Ведь в сущности я был влюблен в нас троих вместе.

Большая часть компании всерьез сочиняла стихи. Евгений Борисович Пастернак, сын и биограф Бориса Леонидовича, пишет:

Пастернак старательно скрывал от друзей и домашних свои первые литературные опыты. Семейное взаимопонимание было нарушено его необъяснимым и, казалось, неокончательным отказом от занятий музыкой.<...> Летом 1910 года исключением из общего правила были Александр Штих, который восхищался этими опытами и в своих собственных был близок им до подражания, и Сергей Дурылин, который умел увидеть в них, как он вспоминает, «золотые частицы, носимые хаосом», и поверить в его возможности.

И далее, уже о 1912 годе:

Александр Штих оставался самым близким свидетелем поэтических опытов Пастернака. Он восторженно принимал новые стихотворения, обсуждал и запоминал их строчки и образы и сам сочинял во многом похожие вещи. Вскоре после кончины Пастернака он принес нам свято сохраненные листочки шести стихотворений 1912 года, два из которых <...> были записаны им со слуха. На его понимание и поддержку Борис мог рассчитывать всегда. <...>

Далеко не с таким пониманием встретили Пастернака те, кто, считая литературу своим призванием, уже относились к ней профессионально. По воспоминаниям Локса, Борис Садовской, услышав чтение Пастернака у Анисимова, презрительно сказал, что «все это до него не доходит: „Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне“».

(Е. Пастернак. «Борис Пастернак. Биография».)

А Александр Гавронский, двоюродный брат Иды Высоцкой (той самой «девушки из богатого дома», дочери чаеоторговца Высоцкого), «с великим трудом собрал, лицо в серьезную складку и, поборов внутренний смех, заявил о том, что „здесь излишек содержания в ущерб форме...“ или что-то в этом роде, „что это нехудожественно – и – слишком глубоко для искусства“». (Там же.)

В отличие от многих молодой Шура Штих оценил Борину гениальность сразу. Дружба их продолжалась. Борис мучительно метался в поисках своего призвания, стихи долго не считал главным в жизни, собирался стать композитором, философом. Преподавание философии в Московском университете его не удовлетворяло, и Пастернак уехал учиться в Марбург – тогдашнюю философскую Мекку – к профессору Когену. То марбургское лето 1912 года значило в жизни Бориса очень много – отвергнутое предложение Иде Высоцкой, разочарование в философии. Письма Шуре шли одно за другим: известны от 18, 27 июня, 3, 7, 9, 11, 14, 17 (два письма), 18, 19, 22, 25 июля и далее.

Милый Шура. Господи – мне нехорошо. Я ставлю крест над философией.

...Шура, Шура; ты мне не поможешь: надо заразиться сейчас моим состоянием.<...> Захочешь ли ты это? Но пиши, пиши мне. А когда мы свидимся, я вложу уже тебе в уста все то, что мне нужно услышать от тебя. И тебе не будет трудно.

Подробно свои чувства и события того времени Пастернак описал в «Охранной грамоте» и «Марбурге». Но первым о принятом решении узнал Шура: «.я бросаю все; – искусство, и больше ничего» (11 июля 1912, Марбург). А вернувшись в Россию, Борис привез другу сувенир – бронзовый дверной молоток в виде чертика. Александр Львович хранил его всю жизнь на письменном столе, а после дедушкиной смерти мама повесила чертика над своим диваном, только попросила меня – двенадцатилетнего – отпилить неэстетичную верхнюю петлю для крепления (если молоток не использовать по прямому назначению, она вроде бы не нужна). Думаю, сейчас я уговорил бы ее оставить исторического чертика в первоизданном виде. Но тогда, в 1962-м, отпил и содеянным гордился.

Мама вообще не испытывала благоговейного трепета перед старыми вещами, когда они ветшали, эстетика значила для нее больше, чем факт раритета. Маленьким, задолго до прочтения романа Дюма, я был очарован французскими мушкетерами. Все в них выглядело для меня прекрасным: плащи, шляпы с перьями, сапоги с отворотами – все. И конечно же, шпага. Изящная, легкая, ею дрались так красиво, убивали так изысканно. В общем – мечта. При чем счастьем казалось просто постоять в Историческом музее перед витриной со шпагами. Подержать ее когда-нибудь в руках я и не надеялся. И как-то раз дедушка – мой дедушка Александр Львович, такой маленький, негероический и даже неспортивный, поняв мое отношение к этому предмету, засмеялся, полез в сундук и вынул оттуда... – я не верил своим глазам. Шпага. Клинок, правда, поржавел, но эфес! – бронзовый, с человеческой головкой вместо шишачка и с дырочкой для темляка. Ножны – кожаные, мягкие, местами рваные. Шпага оказалась дедушкиной. В армии он никогда не служил, но до революции она являлась частью студенческого парадного мундира. В общем, предмет скорее бутафорский, клинок из слабой стали легко гнулся, но все равно – хоть и студенческая, однако настоящая. Я был счастлив. Я ее трогал, таскал за собой, чуть ли не спать с ней ночью улегся.

Потом очень скоро меня увезли на дачу, куда взять шпагу, конечно, не разрешили. В мое отсутствие на Банковском случился капитальный ремонт. Как при всяком ремонте, выбросили много всякого старого хлама, в том числе и шпагу, попавшуюся маме под горячую руку в момент обновления жилья. Может, шпага и была некрасивая, я ее плохо запомнил – мне даже не довелось как следует с ней поиграть. Справедливости ради нужно сказать, что ошибку свою мама потом осознала, более того – даже пыталась исправить много лет спустя (я уже учился в институте), подарив мне шпагу, переделанную знакомыми художниками из спортивной рапиры. Честно говоря, мне до сих пор ее жалко, дедушкину студенческую шпагу.

А марбургский чертенок с отпиленным для эстетики крепежным ушком переехал с нами в Черемушки и занял почетное место на книжной полке.

Первые публикации

В 1913 году Борис Пастернак опубликовал первые стихи в альманахе «Лирика». Шура получил в подарок экземпляр с надписью:

Шуре Штих.
Другу, опоре в трудные минуты.
Б. Пастернак.
7 апр. 1913.

В том же 1913-м у Бориса вышла и первая собственная книжка – «Близнец в тучах». Дарственная надпись Шуре гласила:

Истинному, незабвенному другу, любимому Шуре, до скорой встречи с ним на подобной странице, от всего сердца Б. Пастернак 21.II.1913.

Два стихотворения в ней посвящены другу Шуре – это ранние редакции известных стихотворений «Девственность» и «Венеция» Поскольку впоследствии они всегда печатались в поздней редакции, я привожу здесь ту, первую:

Ал. Ш.

Вчера, как бога статуэтка,
Нагой ребёнок был разбит.
Плачь! Этот дождь за ветхой веткой
Ещё слезой твоей не сыт.
Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера,
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.
Дворовый окрик свой татары
Едва ль успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.
Они узнают тот, сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт.
Они узнают на гиганте
Следы чужих творивших рук,
Они услышат возглас: «Встаньте
Четой зиждительных услуг!»
Увы, им надлежит отныне
Весь облачный его объём
И весь полёт гранитных линий
Под пар избороздить вдвоём.
О, запрокинь в венце наносном
Подрезанный лобзаньем лик.
Смотри, к каким великим вёснам
Несёт окровавленный миг!
И рыцарем старинной Польши,

Чей в топях погребён галоп,
Усни! Тебя не бросит больше
В оружьи девственных озноб.

Венеция
А.Л.Ш.

Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло сонною стоянкой,
Безлюдье висло от весла.
Висел созвучьем Скорпиона
Трезубец вымерших гитар,
Ещё морского небосклона
Чадящий не касался шар;
В краю подвластных зодиакам
Был громко одинок аккорд.
Трёхжальем не встревожен знаком,
Вершил свои туманы порт.
Земля когда-то оторвалась,
Дворцов развёрнутых тесьма,
Планетой всплыли арсеналы,
Планетой понеслись дома.
И тайну бытия без корня
Постиг я в час рожденья дня:
Очам и снам моим просторней
Сновать в тумане без меня.
И пеной бешеных цветений,
И пеною взбешённых морд
Срывался в брезжущие тени
Руки не ведавший аккорд.

В 1928 году Пастернак готовил издание сборника «Поверх барьеров», для которого переработал многие ранние стихи. Своего экземпляра «Близнеца в тучах» у Бориса Леонидовича не оказалось (как позже сам он написал: «.Не надо заводить архива, Над рукописями трястись»), и он взял дедушкин. Большинство стихов были сильно переделаны, причем правил Пастернак прямо по Шуриной книжке. «Венеция» и «Девственность» сильно изменились. Другое время, другие стихи. В переработанном виде стихотворения печатались уже без посвящений.

Шура тоже посвятил другу стихотворение, написанное в 1913 году. По свидетельству литературоведа Эдуарда Штейна, Борису Леонидовичу оно нравилось и много лет спустя:

Осень

Б. Пастернаку

Тихо и печально в роще опустелой,
Только бьется грустно пожелтевший лист.
Воздух онемелый

В хрустале лазури, как забвенье чист.
Тихо и печально.
Солнце холоднее. По утрам в тумане
Долго цепенеет грустная земля.
Тучи, словно к ране
Льнут к земле, покоя черные поля.
Солнце холоднее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.